

О том, как защищали диссертации после смерти Сталина

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1842>

5 февраля 2015

Собеседник

Виноградов Игорь Иванович

Ведущий

Голицына Екатерина Андреевна

Дата записи

Беседа записана 5 февраля 2015 и опубликована 6 сентября 2016.

Введение

Во второй беседе Игорь Виноградов вспоминает, почему решил идти на филологический факультет, сколько вопросов ему задали на собеседовании и как приняли, несмотря на то что он не читал Вересаева. Критик вспоминает о своих университетских товарищах, комсомольской работе, политической «слепоте» молодежи и рассказывает, как ухудшение зрения помешало его спортивной карьере. Виноградов делится воспоминаниями о военных лагерях, в которых проходили сборы студенты, где за курение в палатке следовал «похоронный марафон». После смерти вождя Виноградов пересмотрел свое отношение к политике и пострадал за свои высказывания на партийном собрании.

Екатерина Андреевна Голицына: Всё, можно начинать.

Игорь Иванович Виноградов: Ну, хорошо. Значит, я сказал, что в 1948 году я кончил школу. И для меня не было сомнения, куда дальше идти — конечно, в Московский университет. Но вот когда я думаю сейчас, почему я пошел на филологический факультет, мне самому это как-то не очень понятно... Наверное, потому что все-таки... неточные науки в моей епархии. Это я понял, я рассказывал об этом, как еще в Перми пытался пойти на олимпиаду математическую и понял, что это не мое. А из гуманитарных факультетов или направлений, которые мне могли быть интересны... Историей я особо не увлекался, хотя сейчас думаю, как бы я построил жизнь, имея опыт прожитой уже жизни, если бы мне снова вернули молодость и так далее. Думаю, что я пошел бы на исторический факультет, потому что меня больше всего интересует историософия, так или иначе... Но тогда этого не было. Какое-то время в Перми я даже думал, что буду поступать в Институт международных отношений — как интересно поехать по миру, понимаете, да? Но, думаю, главную роль сыграло то, что у меня получалось очень хорошо писать сочинения, я это любил. Я помню, в десятом классе я написал большое сочинение по Чехову. Я уже в школе достаточно хорошо познакомился с Белинским, с Добролюбовым, и то, что они делали, — мне тоже это очень нравилось. И я как-то видел, что на предмете литературы критик очень многое может сказать, и надежда была на то, что эта форма деятельности, форма самовыражения — она более органична для меня. Примерно я бы так объяснил, почему я пошел на филфак, хотя никакого особенного увлечения уроками литературы, скажем, не было. Может быть, это и потому, что мне не повезло, у меня не было хороших преподавателей литературы, таких, какие были, скажем, у моей дочери потом. Зато были замечательные преподаватели точных наук — об этом я рассказывал: и математик, и физик, и химичка наша. Они очень много мне дали, но дали, так сказать, методологически, применительно уже к тому, чем я стал заниматься. И я решил поступать на филфак.



Вступительное собеседование

Когда я пришел в университет и познакомился с ребятами, которые со мной поступали, я увидел, что мои знания по литературе не так уж замечательны, как мне казалось поначалу, и что есть ребята, которые побольше моего знают. Тем не менее, меня это не сбilo с толку и не окоротило мое желание. И я пошел на собеседование, потому что как золотой медалист не обязан был сдавать экзамен, должен был пройти собеседование. Собеседование — это была довольно сложная акция, целое действие. Сначала со мной беседовал доцент Ухалов, у которого я потом учился в семинаре. И он — я помню это, потому что я, когда пришел домой, записал — он задал мне сорок вопросов. Сорок вопросов, самых разных, на которые я так или иначе отвечал. И не ответил я на единственный вопрос: он спросил меня, как я отношусь к Вересаеву. Я честно сказал, что к Вересаеву никак не отношусь, потому что я его не читал. Он сказал: «Ну конечно, если вы не читали, то знать не можете...» Я несколько побаивался, что это мне будет поставлено в укор, но нет, это не имело никакого значения. Потом Ухалов передал меня следующему «допрашивателю». Это был секретарь факультетского бюро, аспирант Боря Стахеев... На факультете был такой порядок — это был 1948 год: руководитель комсомола факультетского должен был обязательно принимать участие в приемных экзаменах, в собеседованиях, так сказать, давая добро и с этой стороны, что потом пришлось осуществлять и мне. Но тогда для меня это была довольно грозная фигура. Стахеев тоже задал мне вопросов не меньше сорока. Но все более-менее нормально сошло, и меня приняли. Я быстро узнал — списки, что ли, вывешивали, — что меня приняли, и уехал в деревню — я даже рассказывал, по-моему, об этом — со своими младшими братом и сестрой, где...

Е.Г.: Где варили пиво.

Работа на стройке и начало учебы

И.В.: Где варили пиво, где я впервые попробовал себя в качестве мужчины-алкоголика (*смеется*) или, во всяком случае, пьянчужки. После, когда я вернулся из деревни, университет начался со стройки. Значит, всех нас, принятых в университет, распределили по группам и поставили на какой-то участок на стройке высотного здания университета. Это было хорошо, потому что с самого начала установились нормальные рабочие отношения внутри коллектива. Я помню, что мы рыли траншеи. Чем девочки занимались, я не помню, но тоже чем-то занимались. Это быстро очень нас всех сдружило, первое знакомство переросло в приятельство, в товарищество. И это очень смешно, наверное, выглядело, у меня есть где-то фотография — я вам потом покажу — где мы стоим там в каких-то немыслимых широких майках, шароварах, в кепках, с лопатами. В общем, вот такие сезонные работники. Хотя одновременно с нами там работали заключенные, мы с ними не общались, мы этого не знали даже. Это было, по-моему, полмесяца или месяц, август или пол-августа, до начала сентября. А потом началась уже собственно университетская жизнь. Я был зачислен в первую немецкую группу, потому что в школе учил немецкий язык. Вся университетская жизнь прошла в этой группе. И там начались уже гораздо более глубокие и крепкие товарищеские связи, в частности, моим самым близким другом в университете стал Валя Хализев, племянник Геннадия Николаевича Поспелова, профессора университета. Сейчас он сам профессор университета, специалист по теории литературы. Тогда мы очень дружили. Надо сказать, что с ребятами из первой немецкой группы, и с девочками и с мальчиками, у меня надолго потом сохранились, нечастые по срокам встреч, но приятельские, дружеские, хорошие отношения.

Университетские товарищи

Состав студентов на факультете был очень разнообразный. В основном это были, конечно, мальчики и девочки, только что кончившие школу, медалисты или не медалисты, но хорошо сдавшие экзамены, поступившие. Но было очень много людей гораздо более взрослых, недавних фронтовиков или армейцев.

В нашей группе, скажем, был Витя Богданов, Юра Петряков в соседней группе. У журналистов учился Артем Анфиногенов, потом известный писатель, который был летчиком. Не знаю, воевал ли, скажем, Петряков, но то, что он в армии был, я знаю. И особенно на факультете журналистики было много таких бывших армейцев. Надо сказать, у нас никакого возрастного, кастового разделения не было, жили очень дружно и были настоящими товарищами. Многие бывшие фронтовики потом долго были моими близкими друзьями, и разница в возрасте нам не мешала дружить. В общем, вы понимаете, что такое университет.

Отношение к учебе и преподавателям

Я пришел в святилище знаний — Московский университет!.. Выше ничего себе невозможно было представить. Как мы тогда воспитывались и думали, что это самое высокое, самое настоящее, что может быть на земле, потому что всё, что там, на Западе, — это, конечно, ерунда по сравнению с Московским университетом. И вот мальчишка, который, в сущности, только-только начал в старших классах школы испытывать интерес к интеллектуальным поискам, размышлениям и так далее, вдруг оказался в этом мире, где со всех сторон на него обрушилась новая жизнь, новые знания. И я был этим упоен. Прежде всего, это была, конечно, учеба, которая меня занимала невероятно. Я очень много читал, много занимался, слушал все курсы лекций внимательно. В общем, всё, что требовалось от меня как от студента, я делал очень добросовестно и с огромным интересом. Хотя я не могу сказать, что состав преподавателей университета был такой уж блестящий. Были яркие, интересные преподаватели... Может быть, звезд первой величины там были один или два, так сказать — и обчелся. Было много уважаемых профессоров, которые хорошо знали предмет, но которые не очень стремились к концептуализации своих знаний и передаче. Наверное, потому, что обобщение, всякая типология — очень ответственная вещь, и тут легко можно было в те времена попасть и под идеологический нож. А меня интересовало как раз больше всего именно это. По складу характера, видимо, по природе своей, по характеру складывавшегося интеллекта, который во мне воспитывался такими людьми, как мой математик, мой физик и так далее, меня очень тянуло всегда к генерализации знания, к обобщению, к построению каких-то схем или концепций, структур объемлющего характера, которые давали бы возможность понимать закономерности изучаемого периода. Поэтому, скажем, я на втором курсе ходил в течение одного семестра в семинар Сергея Михайловича Бонди. Это был замечательный ученый, прекрасный пушкинист. Но вот он работал больше в пространстве непосредственного художественного анализа с невероятным умением почувствовать и вытащить внутреннее содержание любого текста — ну и только. А на что-то большее, на историко-литературную схематизацию, концептуализацию предмета он не шел. Поэтому я послушал с большим интересом, но ушел из этого семинара. Привлек меня, скажем, и Николай Каллиникович, по моему, Гудзий, который читал нам древнерусскую литературу. Это тоже был большеученый-энциклопедист, фактограф, чем концептуалист. Но с первого курса я стал не то что поклонником, но очень верным слушателем и верным студентом Геннадия Николаевича Поспелова, который читал у нас на первом курсе «Введение в литературоведение», на втором-третьем курсе «XVIII—XIX век...», на последнем курсе «Теорию литературы». Это была очень интересная, яркая фигура. Он был учеником Фриче и принадлежал той школе, которую во времена разгрома этой школы называли школой вульгарного социологизма. Вульгарным социологизмом там действительно пахло, даже и в лекциях Геннадия Николаевича, но это была все-таки очень хорошо выстроенная концепция литературы, с социологической точки зрения прежде всего. И это привлекало. Это открывало очень многое, это не было так однолинейно плоско, как можно себе представить, но этот стержень — под социологическим углом зрения посмотреть историю литературы — он придавал курсу стройность, интригу. Мне Поспелов был очень интересен, я никогда не пропускал его лекции, хотя другие лекции иногда и пропускал. Мы с Валей Хализевым записывали за ним какие-то его смешные иногда выражения. Потом Валя Хализев ему это показал. Тот поморщился, сказал: «Нашли, чем заниматься!»

” Он мог сказать, например, такую фразу, почему-то мне запомнилась: «Некрасов, сначала заболел, а потом умерев, перестал быть редактором...»

Вот такие оговорки были забавные. Но вообще очень курсы интересные были. Я на третьем курсе пошел к нему в семинар по Тургеневу, писал курсовую работу по Тургеневу под его руководством... Он всегда был тоже в моем поле зрения, в поле моего внимания неперемного. Учебники, которые он писал, я знаю хорошо, и лекции, которые он читал, я знаю тоже. Кто там еще у нас преподавал? Я говорил о Бонди, о Гудзии. Зарубежную литературу нам читал Роман Михайлович Самарин. Человек, общественные позиции которого были не очень, скажем, привлекательные, потому что он был конформист, но специалист он был замечательный. И курс этот лекций тоже много давал. Знал он хорошо свой предмет, и лекции были очень интересные. Античную литературу читал Радциг. На том уровне, на каком тогда преподавалась античная литература, это было тоже замечательно и хорошо, хотя, повторяю, концептуализма тогда было не так уж много. Это был, скорее, фактографический курс. Была такая замечательная женщина, профессор Галкина-Федорук, которую мы называли «баба Дуся». Она была жена ректора университета, профессора Галкина, отсюда двойная фамилия. О ней много всяких анекдотов ходило, она вообще была анекдотический человек. Галкин её где-то подобрал, чуть ли не из деревни. И она самоучкой стала сельской учительницей, потом экстерном сдала в Саратовский университет все экзамены, поступила в аспирантуру, кончила и преподавала в ИФЛИ. И преподавала в Университете у нас современный русский язык, лексику, по-моему. Она была создателем теории происхождения мата, и она знала очень хорошо мат русский и иногда удивляла слушателей изысканностью своих знаний. Она считала, что мат зародился в качестве языка общения, приветствия и узнавания. Когда человек при встрече говорил, что он знал хорошо его мать, это была как бы рекомендация родственной близости, не больше того. Она была забавный очень человек.

” Я помню, как она одному из моих друзей-однокашников внушала, что не надо специализироваться по литературоведению: «Возьмите лингвистику: лингвистика — там все понятно, просто, а литературоведение — это идеология. Постоянная идеология — это, знаете, очень опасно!»

(Смеется.) Ну вот. Я уже говорил, что ходило о ней много всяких анекдотов...

Е.Г.: Расскажите!

И.В.: В частности, однажды она пришла в университет, сдала в гардероб свою шубу — какая шуба была, я не знаю, норковая или не норковая, но какая-то шуба, ценная, видимо. И эту шубу стащили. Стащили, и она написала заявление ректору университета, своему мужу, с требованием, чтобы ей как-то возместили или вернули, нашли эту шубу. И Галкин написал резолюцию: «Так и надо растяпам!». Много было и старших преподавателей интересных. Николай Иванович Либан, например. Он так, по-моему, до конца жизни не защитил никаких диссертаций, но был замечательный знаток русской литературы, вел семинары очень интересные. Я у него тоже занимался. Были другие преподаватели. Но это основное, что я сказал, основное ядро преподавательского состава, который мне был интересен прежде всего.

О качестве обучения в Московском университете

Должен сказать, что университет в смысле знаний действительно дал мне очень много. И потом, уже позже, когда я преподавал на Западе в разных университетах, я как бы подтвердил свое впечатление

о Московском университете, которое состояло в том, что та система образования, которую предлагал Московский университет, — она была взята с немецкого образца, но она была продумана и отработана... и очень продуктивна. Это система перекрещивающихся семинаров и общих курсов. На Западе общие курсы вообще очень редко читаются, если не брать немцев. В Италии, например, во Франции — там больше упор делается на развитие в студенте самостоятельных навыков исследования и специализации. Поэтому там сплошь и рядом можно встретить такой феномен, что некий доцент или даже профессор является блестящим специалистом по какому-нибудь второстепенному русскому писателю, например Алданову, или Шмелеву, а Толстого он даже не читал. Такое в нашем университете невозможно было бы. Кстати, когда я сам преподавал, скажем, в Венеции и Милане, я читал — они как бы не общие курсы, например по творчеству Достоевского, но я читал их как общий курс одновременно... И я должен сказать, что западные студенты невероятно, с большим интересом и с большим вниманием относились к такого рода непривычному для них построению. Я не знаю, перейдет ли в конце концов Запад на эту немецко-российскую систему, но я бы рекомендовал. Университет дал в этом смысле мне очень много, систематическое мышление мое получило подкрепление самой структурой преподавания и, конечно, тем, что я очень много читал. Помню, на меня именно тогда, в университете, сильное влияние оказал Чернышевский, которого я прочитал полностью, почти всё, что он написал, и такие работы, как «Очерки гоголевского периода»... Это на меня действительно оказало очень большое влияние именно своей концептуальной свежестью и мощностью. Белинский, Добролюбов, Писарев в этом смысле для меня тоже были большими учителями того, как надо писать. И именно концептуальностью, структурностью своего мышления прежде всего и больше всего мне были важны.

Учеба на философском факультете

Да, должен сказать, что одновременно с изучением литературы на филфаке этого времени было очень хорошо поставлено преподавание марксизма. Я хорошо помню преподавателя марксизма, который читал у нас до 1948 года, а потом, в связи с кампанией против космополитизма, его убрали. Я не помню его фамилию, но это был очень яркий человек, и читал он очень интересно. Должен сказать, что я вообще считаю, и как-то однажды Наум Коржавин в какой-то из своих работ написал, что марксизм может быть очень хорошей методологической школой мышления. Я совершенно с этим согласен. При всем том, что, в принципе, эта теория ложная, она тем не менее вбирает в себя такое огромное количество фактов и основана на таком фактологически-историческом материале, что действительно знания можно приобрести и через марксизм. Если ты марксист, ты обязан знать немецкую философию, ты обязан знать французских просветителей, ты обязан знать мировую культуру. И если к этому относиться всерьез, это дает довольно широкую базу образовательную. А у нас помимо марксизма, который переходил непосредственно в историю марксистско-ленинской философии и в историю философии мировой, мировая философия тоже читалась. Это всё было в одном клубке, некая симфония полноценного и полнокровного полифонического знания, которая даже заставила меня на втором курсе подать заявление в ректорат с просьбой разрешить мне поступить одновременно на вечернее отделение философского факультета, потому что мне казалось тогда, что это скрепляющий цемент, и тогда будет именно то, что я хочу получить. Мне разрешили, и я полтора курса, по-моему, проучился на философском факультете, на вечернем отделении, сдавал экзамен там, сдал, в частности, высшую математику, хотя это было для меня довольно трудное дело...

Е.Г.: А зачем это там?

И.В.: А?

Е.Г.: Почему это было на философском?

И.В.: Тогда было на философском факультете это обязательно, чтобы философ умел разбираться в этих вещах. Но потом я ушел оттуда, потому что, конечно, состав преподавателей на вечернем отделении был гораздо слабее, чем на дневном... Но я и не помню, кстати, чтобы в это время на философском факультете работали какие-то очень известные и интересные философы. Асмус работал, кажется, или нет,

я не помню, но я к нему не попал. А ушел я после того, как впервые за всю учебу в университете — это был, правда, второй еще курс... Забегая вперед, могу сказать, что за все пять лет моей учебы в университете у меня не было ни одной четверки (*смеется*). На втором курсе я уже получил именную стипендию имени Лермонтова, на третьем, четвертом, пятом курсах я получал Сталинскую стипендию, это самое высокое, что мог тогда студент получить. И с философского факультета я ушел после какого-то экзамена, когда получил первую в своей жизни двойку в Университете (*смеются*). А двойку я получил за то, что какой-то преподаватель... У меня был вопрос о Канте, которого я, кстати, очень хорошо в то время уже знал, и он спросил меня о том, что говорил Ленин о Канте. И я что-то, видимо, не очень точно привел формулировку Ленина. И он сказал: что ж, раз вы этого не знаете, приходите в следующий раз, вот вам двойка! (*Смеются*) Меня это очень расстроило, с одной стороны, и я побежал плакаться к девушке, в которую в это время был влюблен, и она меня утешала всячески. Но потом во мне гордость разыгралась, и я решил, что это несправедливо, так нельзя, потому что это не проверка знания, а начетничество какое-то. И потом я увидел за эти полтора года, что я вполне могу сам, самостоятельно, руководствуясь той канвой, которая дается на общих курсах по истории философии у нас на филфаке, восполнить свое образование, получить то, что я надеялся получить на философском факультете. В общем, так оно и получилось. Я ушел оттуда, продолжая заниматься в системе филфака. Я сказал, что в течение всей учебы в университете получал только отличные отметки, только пятерки. Но, оглядываясь на себя, могу, положив руку на сердце, сказать, что я вовсе не был таким, знаете, типичным отличником, зубрилой, который гонится прежде всего за отметкой. Я занимался тем, что мне было интересно. Я занимался марксизмом, да, я занимался историей философии, я занимался литературой, литературной критикой. Лингвистикой я не занимался. Поскольку способности тогда, особенно в то время, в юности, были неплохие, мне было достаточно в течение трех или четырех ночей, которые перед экзаменом всегда были, при помощи всяких допингов: таблеток, невысыпаний и так далее — выучить, скажем, историческую грамматику или старославянский язык и сдать. Это уже был вопрос чести и честолюбия тщеславного — сдать на пятерку. И потом тут же забыть, тут же этим не заниматься уже. Я занимался только тем, что мне было интересно, это вообще был принцип моей жизни тогда. Не могу сказать, что я был тем не менее книжный мальчик такой. В университете были мои приятели, которые были именно такими книжными мальчиками, не вылезали из-за библиотечных столов и становились потом действительно хорошими учеными. Я не был таким, потому что я увлекался разнообразными вещами. Я занимался спортом, не могу сказать, чтоб уж очень пристально и профессионально, но тем не менее...

” У меня был комплекс представлений о настоящем мужчине: что настоящий мужчина должен уметь стрелять, плавать, ездить на лошади и водить машину.

Е.Г.: Прекрасно!

И.В.: У меня был третий разряд по стрельбе, второй разряд по туризму горному, сложному довольно туризму. Плавать я умел, и у меня третий разряд по конному спорту. Я записался в секцию конного спорта при обществе «Наука» и занимался там, кстати, с Радой Хрущевой вместе. Мне это очень нравилось, и я бы продолжал, наверное, заниматься, если бы не случилось, что уже после сдачи экзаменов, после того как получил разряд, я пришел на какие-то соревнования на манеж общества «Наука» и надел очки, чтобы видеть, что происходит. Тренер мой увидел меня в очках — и всё!

Е.Г.: Запретил.

И.В.: И выгнал, да, потому что прыгал я без очков, конечно. Но тогда у меня было не такое еще плохое зрение, это можно было делать. И потом были не такие уж высокие препятствия — это был третий разряд всего лишь. Вот конный спорт. Туризм. Я помню довольно серьезный поход, которым я руководил, через Кавказ, через Архыз. Мы шли через Главный Кавказский хребет, через озеро Кардывач, Красную Поляну, там пробыли неделю на море, позагорали. Он не такой уж трудоемкий, но категория сложности была у него не самая низшая.

Поход по Вишере

Особенно я запомнил зимний поход на четвертом курсе, во время зимних каникул. Мы организовали группу для похода через Северный Урал, чтобы забраться на самую высокую гору Северного Урала — на Денежкин Камень. И вот мы поехали... Нас было четверо или пятеро, точно сейчас не помню. Мы приехали в Пермь, где я учился до этого и жил, было очень интересно снова там побывать. Сели на поезд, доехали до Соликамска, от Соликамска на автобусах — какие автобусы! — на грузовиках, до Красновишерска, потом пошли по Вишере — это северная река, впадающая в Каму — вверх, к истокам Вишеры, ближе к Уральскому хребту: в том примерно районе, где можно выйти на Денежкин Камень. Это был поход довольно сложный, на Вишере населенные пункты были очень редкие, один от другого отстояли не меньше, чем на сорок—пятьдесят километров, и это был дневной маршрут. Мы должны были пройти с огромными тяжелыми рюкзаками за плечами по тридцать, по сорок килограммов, на лыжах, по санной дороге, прямо по Вишере, от одного лесопункта до другого. Погода была замечательная: морозная очень, но сухая и солнечная, поэтому это было не так страшно. Тем не менее, во время какого-то из этих переходов я простудился, и когда мы пришли в очередной лесопункт, у меня была температура около сорока.

Е.Г.: Ужасно!

И.В.: Нас приютила какая-то бабка в избе — там очень охотно принимали туристов, странников всяких. Она посмотрела на меня, когда я померил температуру: «Я тебя вылечу». Налила мне стакан спирта — там водки нет, там не продавали водку, привозили только спирт, потому что водку невыгодно возить, лучше спирт девяностогадусный, который можно разбавить. Она дала мне стакан спирта, подогрела его, намешала туда перца и меда, заставила выпить. Потом заставила меня надеть на себя все теплое, что только мог: все свитера, всё. Дала мне огромный овчинный тулуп и запихнула меня на теплую русскую печку. Как я провел ночь на этой печке, я не помню, я помню, что это был бредовый или полубредовый сон. Но под конец я уже не помнил себя, это был такой крепкий сон, что я уже ничего не чувствовал — а проснулся абсолютно здоровый. И мы пошли дальше, температура нормальная, всё. В один день, да. Я понимаю, что это терапия особая, специфическая, и никогда в жизни потом я не рисковал ею воспользоваться. Только молодой дурень, такой, как я, мог пойти на это, здоровый еще достаточно сердцем. И мы подошли к европейскому склону Уральского хребта, к поселку Сосьва. И тут, значит, начался подъем на хребет. До этого, повторяю, мы ночевали все время в лесопунктах, а тут никаких лесопунктов уже не было — мы шли два дня через хребет. В первый раз ночевали в охотничьем зимовье, нашли избушку, где было всё классически так, как это положено и как во всех рассказах и повестях охотничьих, сибирских повествуется: там были и спички, немножко еды какой, картошка. Мы тоже что-то оставили, какую-то банку. Можно было разжечь огонь, во всяком случае, и спокойно переночевать. Второй раз прямо в лесу. Натаскали как можно больше хвои, разбили палатку и стали в лесу около костра, разложенного в жутковатом пейзаже... Это был участок выгоревшей тайги, где стояли черные стволы деревьев с ветками обгоревшими на фоне зловещего цвета луны, плившей по зловещего цвета небу. Тем не менее, мы перевалили через Уральский хребет и спустились в поселок, который на карте был обозначен как очень большой, я не помню сейчас точно, как называется. Надо сказать, что к походу мы готовились очень серьезно, секция туризма на факультете была очень серьезная, требовали серьезной подготовки, пробных тренировочных походов и так далее. И хорошего знания карт. Нам удалось даже раздобыть где-то военные карты, полутора- или полукилометровки, то есть очень подробные, которые давали возможность идти довольно точно. Беда только в том, что это были карты, по-моему, 1937-го или 1938 года, а с тех пор прошло достаточно много времени... 1952 год это был, значит, больше десяти лет. И когда мы спустились, обнаружилось, что там вроде бы действительно большая деревня или большой поселок, много домов, но только в одном-единственном горит огонечек. Деревня вымершая. Мы сунулись в этот дом, естественно. Оказалось, это школа, где учительница и четыре ее ученика разных классов. Она с ними одновременно занимается, с первого по четвертый класс у них. А вся деревня, которая давно уже перестала заниматься — там были какие-то рудники раньше, — перешла

на оленеводство, ушла в горы с оленями, где они могут найти мох, ягель, и не предвидится никого ближайшее время. Эта школа стала у нас базой. Мы поднялись на Денежкин Камень оттуда — тоже был довольно сложный, суровый поход, но ничего, спустились — и оттуда отправились уже в сибирскую сторону, в Зауралье, чтобы добраться сначала до Серова. Серов — это такой железнодорожный узел довольно большой — а потом в Свердловск и домой. Этот путь я тоже запомнил надолго, потому что оказалось, что та дорога, которая обозначена была на картах, давно уже не существует. Почта в деревню под Денежкин Камень приходит раз в неделю по просеке какой-то, приезжают на лошадях. И вот мы по этой просеке... Просека была видна, понятно, что дорога шла когда-то по ней — мы по ней и пёшли. Но в конце концов уперлись в горную речку полузамерзшую, которую надо было перейти практически вброд. И нам пришлось ее переходить. Мы видели, что там, впереди, горят какие-то огоньки. Мы набрали много в сапоги и ботинки воды и ввалились, пришли в поселение, которое оказалось полузоной, я бы сказал, где жили повальщики, лесорубы, где рубили лес, а потом отвозили в Серов на машинах, на грузовиках. Нас приютили очень любезные, расположенные дружелюбно. Мы были совершенно замученные, полувменяемые, обмороженные. Мы отогрелись у печки, сходили в баню — нам разрешили — и наутро на бревнах, помещенных на грузовики, доехали до Серова, а оттуда уже спокойно добрались до Москвы. Так что и такие вещи были, не только учеба.

Военные лагеря

Из серьезных испытаний я бы назвал еще то, что нам пришлось — мне, во всяком случае, и моим однокашникам, учившимся в это время в университете, — пройти через военные лагеря. У нас была военная кафедра, где нам преподавали и нас готовили. Мы по выпуску, сдав государственные экзамены по военному делу, получили звание младшего лейтенанта. Мы были младшие лейтенанты, в проекции общевоинские командиры взвода. И для того чтобы получить это звание, нужно было два раза пройти военные лагеря: первый раз — после второго курса, второй раз — после четвертого курса, летом. Но первые военные лагеря я не очень запомнил, а вторые запомнил хорошо. Они были под Козельском, рядом с Оптиной пустыней, о которой я тогда представления не имел, ничего не знал. И было достаточно серьезно. Мы поступили в армейскую часть, у нас были армейские командиры, армейский распорядок жизни. Мы жили в палатках, и каждый день были учения, маневры, окопы. А шли жуткие дожди все время, так что я оттуда приехал с ревматизмом, который вылечил, но на всю жизнь у меня остался памятью — вспышками радикулита, до сих пор. Там было довольно серьезно, учили нас нещадно.

” Я вспоминаю забавный случай, когда в нашей палатке ночью во время отдыха кто-то закурил. Старшина обнаружил это, поднял всю палатку, — по-моему, даже командир роты пришел, — заставил пойти на склад за носилками, взять носилки — нас в палатке было четыре человека, по-моему, — взять носилки, погрузить на эти носилки окурки, отнести этот окурки и утопить в реке.

Е.Г.: Сурово.

И.В.: Река в полутора километрах примерно была. (Смеется.) Приехали мы оттуда, в общем, тоже вымученные. Когда закончился срок лагерной жизни, и мы добрались до Козельска, мы там не ждали даже товарняка, который должны были нам подать, а просто залезали в мимо проходящие поезда, и проводницы, как правило, разрешали нам приютиться в тамбурах. Я ночь проспал в тамбуре холодном и приехал, замерзший, с ревматизмом. А во время похода через Урал я даже в какой-то день отморозил немножко руки, пальцы, так что у меня и это тоже осталось памятью. Ну вот, были такие выходы за пределы учебы, не только учеба, а довольно разнообразная университетская жизнь. Я помню, я занимался даже в театральном кружке, хотя способностей у меня актерских никаких, я в этом потом тоже убедился. Но тем не менее в какой-то из постановок театрального кружка курсового я играл в пьесе

«Любовь Яровая» Ярового. Трудно себе представить, что это было за зрелище, но тем не менее... Я почему-то был уверен, что надо все попробовать, и это тоже. Не может быть, чтобы я так уж не сумел...

Е.Г.: Вам нравилось?

И.В.: А?

Е.Г.: Нравилось?

И.В.: Нравилось, да. А если закончить сюжет с армией, должен сказать, что потом я больше на лагерных сборах никогда не бывал, хотя, вообще говоря, мое звание младшего лейтенанта обязывало к этому. И каждый год я получал повестки, явиться в военкомат. Первые два года я ходил на какие-то сборы, не ездил, а ходил на сборы, которые проходили в Академии имени Фрунзе, где-то ещё. Это были теоретические занятия, где повышался наш уровень. Уже когда я работал в «Новом мире», я как-то тоже получил такую повестку. Мне удалось избавиться от этих лагерей, когда я поступал в аспирантуру — с помощью моих друзей, по блату меня освободили. А вот когда я работал в «Новом мире», пришла повестка, я отправился в военкомат, предъявить повестку. Там речь шла о лагерных сборах с выездом за город. И встретил я там автора одного из нашего «Нового мира», молодого писателя Борю Золотарева, автора очень хорошего рассказа «Невеста», который я незадолго перед этим напечатал. Он увидел, говорит: «Игорь Иванович, вы куда?» Я говорю: «Да вот, получил повестку». Он говорит: «Да что вы! Вы понимаете, что здесь такой же бардак, как везде? Они рассылают... У них, скажем, разнарядка на сто человек, они рассылают...»

Е.Г.: Кто придет.

И.В.: «... на сто, а кто придет — вот этих дураков и хватают». *(Смеется.)* Я послушался умного совета, повернулся и ушел из военкомата и никогда больше туда не ходил. И потом, когда пришло время мне переезжать с одной квартиры на другую, с Дмитровского шоссе на Гагаринский проспект, я должен был для этого открепиться в военкомате — мне оставалось ещё немного моего призывного возраста. Когда я туда пришел, там пришли в ужас: оказывается, мне было столько повесток, и я ни разу не проходил никаких лагерей. Но делать нечего, выписать надо — они выписали. И самое смешное, что именно в это время, в последний год моего призывного возраста я получил звание капитана, потому что, оказывается, это звание начислялось по времени моего пребывания в запасе, в звании офицера запаса. Каждый год или каждые два года мне автоматически повышалось звание, так что вышел я уже капитаном. Вот это то, что касается армейской части университета.

Комсомольская работа

Должен сказать, что рассказ об университетских годах был бы абсолютно неполон — несмотря на то что, мне кажется, разные слои моей университетской жизни я уже обозначил, — если бы я не рассказал о комсомольской работе. А комсомольская работа — это была жизнь! Это была жизнь, которой мы жили, я жил, во всяком случае, и это было уже совсем другое... Это было совсем другое качество «советскости», скажем так, чем в школе. В школе это было довольно пассивно. Я был там редактором школьной газеты, председателем совета отряда, что-то такое, начальством всяким. Но там действовало исключительно честолюбие. Честолюбие, амбиции лидерские... А не само содержание дела, не преданность каким-то идеям. А университет — это было другое совсем. Комсомольская работа в университете, на филфаке и не только на филфаке, была поставлена очень хорошо. Филфак — я не знаю, знаете ли вы его в нынешнем виде... Нет, в нынешнем виде он уже на Ленинских горах, а там, где он был раньше, там сейчас расположен факультет журналистики. Это левое крыло второго здания, более близкого к центру Москвы, там, где памятник Герцену и Огареву. И вот этот левый флигель, четвертый этаж — это был филологический факультет. Слева была полукруглая аудитория, которая называлась аудиторией Белинского, почему — не знаю, может быть, связано как-то с Белинским. А потом шел длинный-длинный коридор, загибавшийся уже в фасадную часть здания, и на сгибе, в самом широком месте коридора, висела огромная, метров пять в длину, в полстены высотой, стенгазета «Комсомолия». «Комсомолия» была

знаменитая газета филфака, в которой работали лучшие художники факультета, писали лучшие «золотые перья» факультета и которая поддерживала традиции ифлийцев — учившихся когда-то в ИФЛИ — Павла Когана и всей этой плеяды комсомольских молодых романтиков, которые презирали овалы и всегда угол рисовали... Факультетской песней нашей была песня «Бригантина» Павла Когана. И вот этот дух — он царствовал вообще на факультете с первого курса буквально. Газета была знаменитая, ее читали все. И то, что в ней писалось, отвечало тому, как мы жили. Комсомольская работа была — это была уже романтика реального, конкретного дела, которое мы, молодые представители самой передовой в жизни страны, должны были нести на своих плечах как верные помощники партии. Это было все всерьез. Это было все очень всерьез, очень искренне, и поэтому, когда я вспоминаю это время... Меня спрашивают часто: как ты помнишь Университет? Скажу так, что у меня воспоминания очень противоречивые... Есть такой анекдот про чукчу, которого спрашивают: «Скажи, пожалуйста, когда тебе лучше жилось, при Сталине или при Горбачеве?» Он говорит: «При Сталине». — «Как при Сталине?! Сталин же гробил ваш народ, а при Горбачеве освободили!» Он говорит: «Нет, при Сталине». — «Ну почему, в чем дело?» — «Чукча был молодой, и его девушки любили». (Смеются.) Мы были тогда молодыми «чукчами», и девушки нас любили. И мы были очень искренними «чукчами», и в том, как мы жили, не было лжи и фальши никакой. Но когда я вспоминаю, что не было лжи и фальшью в нашем переживании субъективном, я прихожу в ужас, потому что, конечно же, мы были манкуртами.

Я не знаю, знаком ли вам этот образ. Этот образ взят из романа Чингиза Айтматова, где он рассказывает о некоем жестоком племени — не помню, как оно именуется, можно посмотреть в интернете, вспомнить, — которое, когда брали пленных, напяливало им на голову сырую верблюжью кожу, которая сжималась... Да, и завязанными выставляли на солнце... Кожа сжималась, сдавливала голову, и происходили какие-то совершенно невероятные пертурбации в голове, человек лишался памяти и превращался в безмолвное животное без всякой рефлексии, без интеллекта, послушное хозяину, который заставляет его делать то, что ему нужно.

Конечно, мы были такими манкуртами. И сознавать, что лучшее время жизни, может быть, — время молодости, когда голова особенно ясная, хорошая, когда только набираться добра и правды — мы были зомбированы «самым передовым в мире учением», хотя это было основано на каких-то знаниях, да, мы были зомбированы, одурачены, — вспоминать об этом тяжело. Я вспоминаю об этом, в общем-то, с ужасом. Что перевешивает, я и не знаю. С одной стороны, мы были молодые, мы были искренние, но мы были манкурты, хорошие, искренние манкурты. И не только мы, молодежь, не только мы, бывшие школьники, мальчики и девочки. Старшие наши сокурсники и однокашники, которые прошли войну, — они были такие же. Может быть, где-то что-то было иначе немножко, но мы этого не чувствовали. Значит, я говорил, что я занимался всё время комсомольской работой. На первом курсе я был комсоргом группы, на втором курсе меня выбрали уже в факультетское бюро, я там заведовал сектором физкультуры. А на третьем курсе я тоже был в факультетском бюро, и на четвертом курсе, в секторе пропаганды и агитации — я уже не помню, как называлось. Секретарем был тогда Толя Бочаров, факультетским секретарем. Он учился в аспирантуре. Я помню, как он меня отговаривал жениться на четвертом курсе. Потом он был главным редактором журнала «Советский Союз», профессором кафедры критики на факультете журналистики. И в застойные годы он взял меня на факультет, когда меня всячески везде прижимали, и дал мне возможность преподавать три года там, вести так называемую мастерскую критики, за что я очень благодарен ему, потому что это была очень интересная работа. А на втором курсе секретарем факультетского бюро был Дима Сарабьянов, известный искусствовед и так далее, с которым мы в очень хороших отношениях были и потом тоже поддерживали их. Он был такой же озаренный, немножко постарше нас, но такой же озаренный романтик, манкурт.

Е.Г.: Вы все искренне верили?

И.В.: Все искренне верили, да. Когда меня спрашивают иногда: «А что, неужели не было людей, которые все же что-то понимали?». Были. Но я их тогда не встречал. Только потом обнаружилось, что кто-то, оказывается, еще был воспитан такой семьей, что ему рано раскрыли глаза на то, что такое Сталин... Но он «молчал в тряпочку», держал язык за зубами. Все держали язык за зубами. Мало того, было много таких вещей, которые должны были, казалось, открыть глаза, потому что на факультете была какая-то история, не помню, что именно, но какая-то история на факультете журналистики... А факультет журналистики выделился из филологического факультета — он был сначала отделением филологического факультета — на четвертом курсе, и получил свое помещение на втором этаже. Там какая-то история произошла, в результате чего там было два или три ареста. Но как-то это не производило впечатления. Казалось, что так, наверное, и надо. Особенно об этом не рассказывали, но вера в то, что не может быть в Советском Союзе, в нашей самой передовой стране мира чего-то несправедливого, неправильного — нет! Более того, на четвертом курсе выслали — тоже в связи с кампанией против космополитизма — семью Переца Маркиша. Его выслали куда-то в ссылку, по-моему, в Среднюю Азию. Вместе с семьей, в том числе и Симку Маркиша, который учился у нас на факультете и был моим не скажу близким другом, но приятелем. Тем не менее, и это, я не могу сказать, что произвело на меня тогда такое какое-то [впечатление]... То есть было жутко жалко Симку. Я понимал, что он ни в чем, конечно, не виноват, но такой порядок существует, очевидно, так по закону полагается — и он сам так считал. И когда через два года он вернулся — я уже учился в аспирантуре, — и мы встретились как ни в чем не бывало и продолжали дружить. Потом очень подружились уже в аспирантские годы и потом, когда он работал у Жоржа Нива в Женеве, мы с ним были в тесном общении, особенно в те полгода, когда я там преподавал. Значит, понимаете, справедливость восторжествовала, все пришло на свои места. И Симка вернулся, и все хорошо, и все правильно. Не было таких вещей, которые зацепили бы настолько, чтобы пробудить мысль. Это все произошло позднее, я об этом рассказу. Мировоззренческий переворот произошел в конце моей университетской жизни, когда был кончен университет, и мы отправились в 1953 году, группа комсомольских активистов поехала в Московскую область поднимать московскую молодежь на силос. Это я рассказу. А сейчас я попробую закончить рассказ о комсомольской работе и об окончании университета. Когда я говорю, что, вспоминая этот период своей жизни, который прошел под знаком комсомольской работы, я не могу сказать, что мне за какие-то мои действия, за поведение в амплу секретаря факультетского бюро, принимавшего участие в каких-то мероприятиях, было бы стыдно. Нет, такого не было, слава богу! Но не потому, что я такой очень хороший, а просто так судьба повернулась. Я не исключаю такого варианта, что в 1948—1949 году, если бы я был немножко постарше, я был бы все равно на первом—втором курсе, — когда началась кампания против космополитов, если бы мне сказали в партбюро, что ты должен выступить, не знаю, отказался бы я или нет. Вряд ли. Наверное, так же я истово выступил бы, как, скажем, это произошло с очень близким моим тогда другом Сашей Лебедевым. Он был на два года старше меня, учился уже в аспирантуре, когда на факультете сильно мочалили профессора Белкина, который по фамилии, наверное, не Белкин. Он читал курс русской литературы, и у него нашли какие-то ошибки. И вот Саше поручили как аспиранту выступить, разобрать какие-то его работы, найти криминал, что Саша искренне и с полной уверенностью в том, что он прав, что он делает благое дело, сделал... Надо исправлять ошибки. Когда — кстати, это было как-то понятно и тоже в духе времени — когда Сталин выпустил свою книжку, брошюрку «Марксизм и вопросы языкознания», это был настоящий переворот на факультете. Профессор Чемоданов, наш главный маррист, который придерживался теории Марра, был первой, естественно, жертвой этой сталинской работы, потому что он подпадал именно как представитель той точки зрения или той школы, которую Сталин громил. И Чемоданову в качестве епитимьи было назначено, чтобы он прочитал курс на факультете для старших курсов по сталинским работам «Марксизм и вопросы языкознания», где его фамилия употреблялась в совершенно определенном освещении. И он читал этот курс, и мы ходили на этот курс. У нас не было злорадства никакого. Некоторая ироническая нотка проскальзывала, наверное, в отношении к этому, но он читал серьезно, с отрешенным лицом каменным. И мы понимали, что это правильно, он нашел в себе мужество признать свои ошибки... Я говорю, повернись судьба иначе, если бы поставила меня в такую ситуацию, когда мне было бы предложено как комсомольцу выступить, разобрать что-то такое типа работ Белкина — я не знаю, отказался бы я

или нет. Очень может быть, что точно так же выступил и замарал бы себя. Саша потом вместе с Белкиным... работал в «Энциклопедии», в одной редакции. И я знаю, что Саша извинялся перед Белкиным. Белкин, будучи человеком нормальным, отзывчивым, незлопамятным и умным, он ему спокойно отпустил этот грех, понимая, что произошло. Вот такого манкуртизма, такого рода выражения манкуртизма я как-то избежал. Среда, в которой я жил, комсомольская среда, — это была главная, основная среда моей жизни. Для меня существовал университет, комсомол, а больше ничего не существовало. Помимо учебы, консерватории, выставок, культурной так называемой жизни. А на первом курсе, когда я стал секретарем факультетского бюро, этот круг расширился за счет того, что я попал как бы уже в орбиту вузовских перекрестий. Мы проходили семинары секретарей факультетского бюро, где собирались комсомольские активисты разных факультетов. Я познакомился со многими и сдружился даже. Я познакомился, например, с Леном Карпинском, он был, по-моему, секретарем факультетского бюро философского факультета. Я познакомился с Толей Лукьяновым, который был секретарем факультетского бюро юридического факультета. Я не помню совершенно своего знакомства и, наверное, не был знаком с Горбачевым, который в это время учился тоже на юридическом факультете, но встречаться мы могли, потому что когда я первый раз его увидел, Горбачева, это было позднее уже, в 1991 году, во время какого-то юбилея... Сейчас сообразим, какого: 1991-й — 170 лет, по-моему, было со дня рождения Достоевского. В Колонном зале проходил вечер, посвященный этой дате, юбилею Достоевского. Юра Карякин, который в это время был приближен, скажем так, к высшей власти, вел этот вечер и пригласил меня выступить. Я дал согласие. В назначенное время пришел в здание, где Колонный зал, там боковой служебный вход, который мне показали. Вошел, поднялся — мне сказали, в какую комнату. Открываю дверь, и навстречу мне идет Горбачев. Идет и говорит: «А я вас знаю». Я говорю: «Да нет, вряд ли. Если только мы с вами и встречались, то где-нибудь в коридорах университета». Мы не могли вспомнить этого тем не менее. Потом мы как-то общались с ним, но тогда нет, тогда, на факультете, этого не было. Но мы были очень близки с Толей Лукьяновым, который потом предал Горбачева. Это был один из главных противников, вместе с Хасбулатовым, руководитель оппозиции Горбачеву. С ним мы были дружны и близки. И он был точно такой же, повторяю, манкурт, как все мы. И позднее, когда я работал уже в «Молодой гвардии», был эпизод, когда мне нужно было пойти к нему и посоветоваться в отношении дальнейшего поведения — я расскажу об этом. Так что этот круг был расширенный, уже общевузовский, круг манкуртов факультетского уровня. И так длилось до конца аспирантуры 1958 года.

Мировоззренческий переворот

И в качестве кандидата в члены партии и комсомольского активиста — я еще не был секретарем факультетского бюро, это осенью произошло 1953 года, первый курс аспирантуры, но я был комсомольским активистом, — горком партии летом 1953 года организовал группу комсомольских активистов филологического факультета, куда вошел Юра Петряков, я, еще целый ряд ребят... И горком партии отправил эту группу — я не помню, какой именно район Московской области, — чтобы поднимать московскую областную молодежь на заготовку силоса. Никакой работы по подъему молодежи мы там, разумеется, не проводили, мы просто организовали бригаду силосников и сами делали какие-то траншеи, заваливали силосом. То есть пытались оказать какую-то практическую помощь. И во время этой летней командировки на силос — мы жили там в каком-то, по-моему, сарае, — мы услышали сообщение об аресте Берии. Должен сказать, что это был решающий момент в том, что произошло потом со мной, в том мировоззренческом перевороте, который со мной произошел как раз в 1953 году. Сразу после смерти Сталина был момент, когда могло бы это начаться — «дело врачей». «Дело врачей», которое было пересмотрено сразу после смерти Сталина. Но я тогда воспринял этот пересмотр — я не заподозрил ничего — как то, что, да, у нас правильно все справедливость будет торжествовать. Значит, нашлись силы, которые разоблачили эту женщину, которая донесла, всё восстановлено, теперь будет по правде, по справедливости. Но первый щелчок сомнения и какого-то пожевания произошел со мной, когда в «Правде» — а это произошло в мае месяце, я не помню сейчас, но где-то в середине мая, по-моему — появилась статья о культе личности. Это была статья без имен, а как бы чисто теоретическая,

где рассказывалось о том, как Маркс и Энгельс относились к проблеме культа личности... Отрицательно, естественно. И вот это впервые меня зацепило. Зацепило какой-то ханженской неправдой, которая в этом была. Было понятно, что речь может идти в данном случае только о Сталине, потому что там были формулировки понятные совершенно, что это должно приложиться к Сталину, и что не успел еще Сталин, понимаешь, в гробу улечься как следует, а наследники еще и башмаков не стоптали — а уже что-то начинается. Как такое может быть? Непонятно. И потом июнь 1953 года, наша командировка в Московскую область, сообщение о том, что Берия разоблачен как английский шпион! Это было настолько белыми нитками шито, что даже у меня — манкурта, который верил, что гвардия маршалов партии — она чиста и прекрасна, не может быть никакой иной — начала работать голова, начала работать логика. Поскольку я был всегда склонен к такому концептуальному мышлению, я просто в течение всего этого 1953 года, когда я был комсомольским секретарем и так далее, проделал огромную работу самообразования: перечитал все протоколы всех съездов, речи Сталина и так далее, так что в 1954-м, когда кончился мой аспирантский первый год и я уже не был секретарем, начал писать диссертацию — в 1954-м, я вам скажу так, основы моего политического мировоззрения или понимания того, что происходит в нашей стране, уже сложились. Причем это была не просто индивидуальная работа. Была потребность как-то это обсудить, я организовал кружок из комсомольских наших манкуртиков, которые занимались этим пересмотром, заново продумывали и так далее. И вот, отрефлексировав все то, что мы могли знать — мы еще не знали ничего толком о лагерях и всё прочее, — но то, что у нас никакой не социализм, а, скажем, казарменный социализм и что это своего рода тоталитарный режим, во главе которого стоит человек, который пришел к этой власти путем сложной политической борьбы и интриг, — это как-то всё открылось. Мы стояли в это время на позициях, так сказать, ленинских принципов: вот, Ленин был хороший, а Сталин всё извратил. Но процесс осознания и осмысления реальности — он начался. И в 1954-м — я очень хорошо помню — в 1954 году, летом, тоже в июне, по-моему, я позвонил Вальке Хализеву, который тоже учился в аспирантуре. Сказал: «Слушай, давай встретимся с тобой на Пушкинской площади у памятника Пушкину». А памятник Пушкину стоял тогда на противоположном конце бульвара, напротив магазина «Армения». «Надо поговорить». Мы пришли, сели там на скамеечку, и я шепотом — я помню это отчетливо — изложил всё то, к чему я пришел за этот год: к тому, что такое Сталин, что у нас за власть и так далее. Валька этого не помнит, кстати. Я недавно с ним говорил об этом — он почему-то этого не помнит. Помнит другие вещи. А я помню очень хорошо. Я помню, что, переговорив с ним, вдруг как-то очнулся... и зафиксировал то, что я говорил шепотом. Почему я говорил шепотом? Чего я боялся, собственно говоря? Но это была привычка такая. И этот год — с 1953-го по 1954-й, в мое секретарство, когда мы попытались социализм с человеческим лицом на комсомольской работе сделать, он прошел с серьезными испытаниями для меня. После того как мы съездили на целину, я как аспирант первого года обучения... Нет, это уже позже было. В общем, я выступил на партсобрании факультета как секретарь комсомольской организации, отчитываясь о комсомольской работе, и сказал такую вещь, что, к сожалению, я должен сказать, что в комсомольской организации факультета партийная организация факультета не пользуется авторитетом. Это была чистая правда. Чистая правда, и сказал я её это с тем, чтобы такой самокритикой улучшить это. Что тут поднялось! Меня вызвали на партбюро и не подтвердили мой переход из кандидатов в члены партии. Потом меня вызывали на вузком, партком университета. И дело дошло до горкома партии, где нашлись более разумные люди и спустили всё на тормозах. И через год там меня приняли в члены партии. Но помыкаться я помыкался. Я отстаивал, тем не менее, свою правоту. Я это сказал не потому, что хотел унижить. Я не сказал «партия в целом», а «партийная организация плохо работает». Так кончилась моя комсомольская работа в университете. Я продолжал учиться в аспирантуре и работать, занялся своей диссертацией. В аспирантуру я был рекомендован сразу же... Последний семинар, по-моему, я был у декана факультета Александра Николаевича Соколова, и он собирался меня взять в аспирантуру. Но тут тоже пришлось пройти через некоторый рубеж проверки, через некоторую процедуру проверки...

Распределение

В те времена государство брало на себя обязанность дать работу тем, кто учился в государственном

учреждении. Поэтому после государственных экзаменов, окончания учебы собиралась так называемая комиссия по распределению, куда входили преподаватели, члены партбюро факультета, и приходил кто-то из ректората, тоже начальство партийного плана, студентов вызывали и предлагали им разные варианты поехать туда и сюда. Когда меня вызвали — я в это время был уже женат на студентке нашей первой немецкой группы Гале Дунаевой — и я вошел в эту комнату, председатель комиссии: «Ну вот, товарищ Виноградов, есть два места в Молдавии, два учителя в сельскую школу. Вас двое, вы могли бы как раз поехать. Как вы относитесь к этому?» Я сказал: «Если нужно...» Ханжество это мне было ясно. Но, с другой стороны, я понимаю, что это игра. Сам я не играл, потому что я понимал, что вполне может быть и был готов поехать, если уж нужно. Но они сказали: «Ну, выйдите на минуточку». Через некоторое время меня вызвали: «Нет, мы хотим рекомендовать вас в аспирантуру». Я сказал: «Спасибо». Вот эти все моменты, стрессы своего рода, которые приходилось пережить по разным поводам в этот переломный момент перехода страны в новое качество, смерти Сталина, начала новой эпохи, начала новой жизни — они открыли для меня необходимость жить по каким-то новым правилам в соответствии с тем, что я понял за это время, и что требовало от меня принятия каких-то решений. Хотя, пока шла аспирантура, эти решения не требовались. Сразу после окончания аспирантуры мне предложили работать в секретариате Союза писателей в качестве консультанта, и я согласился. Работа была очень денежная, там платили очень хорошие деньги. А за это время я написал диссертацию, и издательство Московского университета, директором которого стал в это время бывший замдекана Михаил Зозуля, издало диссертацию в виде книжки «Проблемы содержания и формы литературного произведения». Это была моя диссертация. Это была практика, которую Зозуля начал делать: ему нужно было издавать какие-то книжки, за которые можно было не платить, но которые давали хоть какую-то прибыль, потому что они расходились, естественно. На следующий год он издал небольшую книжку Володи Лакшина о Толстом. А я эту книжку, то есть диссертацию в 1958 году должен был защищать: в 1956-м я кончил аспирантуру, и через два года поставили на защиту.

Защита диссертации

И тут мне пришлось выдержать еще одно испытание. Я же был заносчивый, амбициозный молодой комсомольский манкуртик, уже проснувшийся к другому, уже что-то понявший, но все эти идеалы, нравственные и моральные идеалы подлинного марксизма — они еще во мне жили, мы были ленинцы. Я очень хотел, чтобы моя защита диссертации прошла на очень высоком уровне в том смысле, чтобы не было никаких чисто процессуальных, церемониальных вещей, которые часто и бывают на защите. Поэтому Сашу Лебедева, который уже кончил аспирантуру и защитил диссертацию, я попросил быть моим оппонентом. И он был оппонентом, и когда шла защита диссертации, он выступил с серьезной критикой, какие-то вопросы были и так далее.

И я, отвечая ему, сказал, что, знаете, я очень доволен, что Александр Александрович так серьезно и критично подошел к моей работе, я просил его сам об этом, что мне не хотелось, чтобы защита диссертации проходила так, как обычно это и бывает: чисто церемониал без серьезной дискуссии... Не успел я это сказать, как поднимает руку старенький Радциг: «Я протестую против заявления диссертанта о том, что у нас несерьезная защита диссертаций!»

Кто-то бросается мне на помощь, говорит: «Вы не так поняли!» — и все прочее. Я что-то такое извиняюсь. Но потом заканчивается защита, проходит голосование — и у меня два или три черных шара, что, в общем-то, совершенно понятно становится в ближайшее время: «Этот наглец мало того что он наглец, он еще книжку защищает! У большинства преподавателей книжек этих нет!» Понимаете ли, молоко

на губах еще не обсохло, а я уже представил книжку! Да еще сын крупного партийного чиновника! Вообще это всё понять можно. Так что Радциг-то голосовал, наверное, просто будучи возмущен моей этой речью... Но какая-то доля шаров, которую получила моя книжка именно, несомненно была. Тут надо сказать, что очень порядочно повел себя декан факультета — в то время был уже Самарин. Он, как мне рассказывали, оставил Ученый совет после защиты диссертации и разродился гневной речью, что это за возмутительная история такая? Было хоть одно выступление против? Где, что? Хвалили только — Лебедев хвалил, кто-то ещё, выступления были какие-то, диссертацию хвалили. Даже были какие-то намеки на то, что, может, докторскую присудить. Что это роняет честь факультета, Ученого совета факультета, что так не поступают... «Мы это будем пересматривать, на Большом ученом совете!» А Большой ученый совет — это совет не литературоведческого отделения только, а совместный: лингвисты и литературоведы. И вот на этом Большом ученом совете я второй раз защищал свою диссертацию. Уже был приглашен специалист из Института мировой литературы... Забыл фамилию, но крупный, известный теоретик, автор книги по теории литературы. На этот раз все произошло благополучно, я диссертацию защитил, мне ее в ВАКе утвердили, и я вышел уже с корочкой кандидата наук, в звании которого почту за честь и умереть.

Разгромная статья по диссертации и снова Ученый совет

Вот так закончилась университетская моя эпопея. Нет, еще не закончилась! Ошибаюсь, произошла ещё одна вещь. Года за два до этого в штат филологического факультета был принят некий Астахов, забыл я имя-отчество. Борис Астахов, по-моему. Такой старый мастодонт-марксист, который, не успев я защитить диссертацию, не успели мне присвоить звание, написал статью в газету «Московский университет», где подверг разносной критике мою диссертацию, обвиняя меня в немарксистских каких-то вещах. Ну бог знает что такое. Никакого криминала там на самом деле не было. Я еще не пришел к тому мировоззрению, которое сделало меня диссидентом-антисоветчиком. Это была вполне нормальная, с марксистских позиций написанная диссертация. Но там были какие-то, конечно, свои находки и выводы, с которыми он был несогласен... Он решил на этом сделать себе карьеру. Началась серьезная довольно история, потому что нужно было это рассматривать опять-таки на уровне Ученого совета. Я был вызван на Ученый совет. И приехал, опоздав... Это было во время фестиваля, автобусы не ходили. Я пришел в зал, где проходил Ученый совет — это было уже в новом здании университета, по-моему. Вошел, поставили на повестку дня мой вопрос, я начал говорить. И впервые во время такого рода обсуждения — обсуждения были на партбюро, еще где-то, на малом совете, везде, то есть целая эпопея была — я сказал, что, может быть, недостаток моей работы заключается в том — не помню, в чем — но не признавая там никакого антимарксизма. И Самарин Роман Михайлович встал, говорит: «Я поражен! Игорь Иванович впервые что-то признал (*смеется*) в качестве своей ошибки или недостатка». Короче говоря, Ученый совет встал за меня, не продали меня, а Астахова немножечко окоротили. Более того, я после защиты диссертации был оставлен в университете. Меня приняли, я стал старшим преподавателем университета и в качестве старшего преподавателя университета поехал с факультетским отрядом на целину летом 1958-го или 1959 года, сейчас точно не помню. Но это начинается уже новая жизнь, я расскажу потом.

Е.Г.: Хорошо. Заканчиваем на сегодня.

Смерть Сталина

Но чтобы закончить блок университета, я должен рассказать и о том, как в 1953 году, после смерти Сталина, я с кем-то из приятелей пытался пробиться к Колонному залу. Дошли мы до Трубной площади, но там стояли такие заслоны двух грузовиков, что пройти было совершенно невозможно, а давка была страшная. И как-то ноги меня унесли оттуда, и слава богу, потому что, знаете, там погибли многие люди. Но это действительно было горе. Было такое ощущение, что уходит главная опора наша, как же мы без него будем? Это точно, это было чувство очень многих людей! Как же мы без него будем, действительно гений. Благодаря его гению, который знает, как правильно вести страну, страна только

что победила в Великой Отечественной войне, находится сейчас на подъеме. Мы только что изобрели водородную бомбу — это уже было у нас в 1948—1949 году. А там же бог знает что готовится, там, против нас. Сталин — была опора, надежда. И это было страшно. Когда шли проститься со Сталиным, зевак тут мало было. Это было искреннее движение манкуртов всех уровней, не только университетских. А после окончания Университета... Да, после смерти Сталина на очередном партийном собрании университета был проведен так называемый «сталинский призыв», как «ленинский призыв» был в свое время после смерти Ленина: в партию вступило много людей, в партию приняли несколько комсомольцев-активистов. Меня тоже приняли в партию, стал кандидатом в 1953 году.